



СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ

ФЕДОР МЕТЛИЦКИЙ

Аннотация

Герой повести попадает в психиатрическую больницу после знакомства со странным босым стариком в белой тунике, «с взглядом античного пророка во впадинах глаз», словно он явился из ветхозаветного времени в наш миллениум, ужаснулся тем, что творится на Земле, и проповедует новое Откровение. Оказалось, что древние знали о нравственности больше, чем мы. В психушку попал и старик, и другие, кто общался с ним.

Но больницу захватывают террористы. Странно повели себя и старик, и больные.

Федор Метлицкий

Стокгольмский синдром

1

В коридор отделения полиции, в зудящем неоновом свете, легко ступил седобородый старик в белой тунике и в сандалиях на босу ногу, с нездешним взглядом античного старца во впадинах глаз. Его держали за руки двое полицейских.

Поджарый капитан в мятом мундире, с неподвижным длинным лицом, недовольно заслонился, как от яркого солнца.

— Бомжа привели. Странный какой-то.

— Почему странный?

— Шел по улице и бормотал что-то, вроде: видел все и уразумел, что видел, но не для этого рода, а для родов отдаленных, которые явятся.

Капитан поскучнел.

— Кто такой?

— Я писец правды, — спокойно ответил старик. — А кто вы, добрая стража, совсем не похожая на ту, что видел?

Менты гоготнули.

— Мы писцы обвинительных протоколов.

В глазах капитана мелькнул интерес.

— Постой, ты не монах? Жил где-нибудь в

скиту? Или бомж?

— Я прибыл оттуда, куда не проникнет, даже через игольное ушко, ваш род стражей.

Нет, это не бомж. Старовер?

Второй полицейский, держащий старика, ухмыльнулся.

— Он тут известен. Проповедует любовь к врагам.

— Из радикалов?

Их много пришлось гонять на митингах, хотя капитан против них ничего не имел. Приказ, ничего личного.

Он представил вереницу тупых алкоголиков и воришек, что прошла за двадцать лет службы. Это была тяжелая возня с запахом блевотины, пьяным матом и тут же, после наручников, рабским заискиванием. Их запахом пропахла вся ментовка. Жалел их, безвольных, трусливых, с мгновенными вспышками ярости, внимательных к чужому добру. И задиристых «радикалов», с которыми не знал, что делать. Подозревал, что люди готовы на все, и был противостоянием этой бездне. Жалел, но считал, что их надо бить палкой по голове. А этот тип занятный.

Старик пронзительно смотрел на него.

— Тьма тем лет прошли, а бич еще не стал божьим бичом. Остался бичом демонов.

— Ты о чем?

— Мне ведомы твои мысли, стражник. Они, как черви, копошатся в твоей голове. Из семени вашей сети стражников произойдет источник чистых и справедливых охранников порядка.

Один из полицейских поднял дубинку-«демократизатор». Капитан, неизвестно отчего, почувствовал острое раздражение, переходящее в недоброжелательство, как обычно перед неуступчивыми «радикалами».

— Как ты смеешь!

— Сегодня ты встал с похмелья, с тупой головой, и только пресс-секретарь Олечка возбудила в тебе радость.

Капитан изумился: и правда, вчера нажрались с соседом, а красавица Олечка — эх, как бы я с ней!.. Откуда это старик?

— Надо тебе изменить все. Увидеть то, что забыл.

Капитан понял, что здесь дело необычное.

— Это о тебе, старик, ходят разные слухи? Будем готовить бумаги. Посидишь за агитацию.

Старика схватили за руки. Он засмеялся.

— Ты не такой. У тебя дома есть полка книг-писаний, открывающих мир, и дочь твоя светлая — свет в окошке, и Олечка волнует тебя невозможным. А ты тешишь себя тщеславием власти, превратил свою должность в доходное дело, и не знаешь ничего другого.

Капитан оторопел. Он был обычным ментом, как их по привычке величал народ, со своей мятой формой, как бы отлитым однообразной службой. Опасный старик! Наверно, умеет расковырять душу. И почему-то подумал о невыносимости своей работы. Вранье, что на страже людей. Ничего, кроме усталого равнодушия, она не дает. И увидел свою ментовку — однообразные кабинеты с потертыми желтыми стенами, тюремным запахом, — с каким-то опричным порядком.

Лязгнули замки камеры предварилочки, с решеткой впереди для постоянного обозрения задержанных. Менты ввели туда не сопротивлявшегося старика.

Старик сидел в камере неподвижно, сложив ладони вместе. Его лицо подобрело, словно оградили от внешних опасностей.

Наутро отделение полиции переполошилось. В камере старика не было!

— Куда ты его дел? — кричал капитан на заспанного дежурного.

— Замки закрыты, я не открывал.

Капитан был испуган, как будто рушилась его карьера. Это было ЧП. Об этом проколе узнают — очередной провал в полицейской машине. Да еще с мистическим уклоном. Известная личность. Явно гипнотизер. Сколько вреда окажет, если не поймать!

* * *

Многие видели необычного старика, мелькавшего на улицах. В отрешенном взгляде его была сосредоточенность, словно искал что-то над суетой вокруг.

Он остановился перед обшарпанным кирпичным зданием некоего института, заполненным несметным числом фирм и фирмешек, арендующих здесь площадь.

Старик радостно шагнул в вестибюль. Ему преградили дорогу аккуратно одетые демоны с крепкими руками. Их руки сомкнулись в пустом месте, где должен быть старик. Он уже был у спасительно открывшегося лифта.

Помещение моей общественной организации было грязным, на потолке висели пласты штукатурки, углы завалены журналами и газетами. Ярким пятном на стене выделялась картина, подаренная какой-то бабкой-художницей. Мы организовали ее выставку, и она не желала брать деньги за свой подарок.

Ремонта не делали — не было денег, да и зачем: не свое, могут выгнать в любую минуту. Сотрудники подняли головы от компьютеров.

Старик остановился, осветив странной улыбкой, что-то в нем было располагающее.

— Я писец правды, кому открылись очи.

Все увяли. Очередной предсказатель? Были тут разные безумцы, которым открылись чакры, и грезящие концом света, и приближающейся кометой, и последней битвой народов, и грезящие воскрешением мертвых и эликсиром бессмертия...

— Спустился к вам в это странное место на земле, где оказалось так много небывалого и полезного для людей.

Я утомленно слушал того, кому открылись очи. Явно больной.

— Ваш мир шествует в небесное пространство благожелательности друг другу, которое откроется после часа последнего суда. Слышал, что вы чистые. Хочу через вас передать писание руки моей грядущим родам.

И передал мне свиток — рулон от факса. Мой зам засмеялся.

— Идите в другое место, в патриархию. Там вас примут.

Старик возмутился.

— Разве желание видеть мир близким распределено по отдельным местам?

Мой верный заместитель, грузный и бесцеремонный, схватил старика за плечи.

— Иди, иди.

Старик легко освободился, к удивлению зама. Меня что-то останавливало.

— Ты что? — уставился на меня зам, который всегда был весел и не знал печали, и потому привлекал. — Уж не хочешь ли его поддержать?

Старик повернулся ко мне.

— Ты устал от борьбы за твое благое дело. Когда пытался пробиться среди недоброжелателей, чьи кланы основываются на богатстве, и вера их относится к богам, сделанным их же руками.

Я опешил.

— А еще что знаете обо мне?

— Ты писец стихотворного слова и страдаешь, словно не можешь выйти на волю.

Что за чертовщина — откуда он знает? Захотелось продолжить разговор.

Моя общественная организация, как и другие подобные сообщества, наконец обрела свою маленькую нишу, востребованную на узком рынке. Мы нестабильно жили за счет организации конкурсов и конференций. Наша программа внедрения нравственных форм в общество потребления почему-то этим обществом не поддерживалась. Как все новое, перешла к другим, более приткым, превратилась в форму прикрытия интересов, мало что прибавив жизни. И все забыли авторов. Такова неблагодарность цивилизации, присваивающей результаты бессонных трудов и лишений одиночек, забывая их при жизни.

Больше того, нас как собаки терзали налоговая инспекция, контрагенты, поставщики услуг и прочие кредиторы. Но мы все еще представляли всем свою организацию мощной и всепроникающей — от страстного желания выжить и преуспеть, а на самом деле едва сводили концы с концами. Наше воображение бежало впереди фактов. И верило в собственную иллюзию.

Мне действительно чего-то не хватало. Отлегал, когда смотрел на бабкину картину — нелепо яркие краски деревенского пейзажа. Не знаю, было ли это искусство, но я понимал, что такое счастье.

*Трагедия судьбы — избенки нищей.
Великое терпение и глад,
Где вырвали родное — в то огнище
Ушел — пресветлым утром! — муж-солдат.*

*Там бабы Любы время отшумело.
А нынешние — пуст и чужд их взгляд.
Кого б рядом — для слова, не для дела,
Ведь ей не много надо — был бы рад.*

*Какое ей богатство — серебристый
Туман над речкой, где стояла с ним,
И травы изумрудные, и чистый
Зеленый гнется лес — из той весны!*

*И снова силы юные, как прежде,
И страшной пустоты как будто нет,
И краски ль это, или взлет надежды
В последней и томящей тишине?*

Понимал, что в любое время, и в старости можно открыть талант, даже гениальность. Нет в природе не гениев. Но все, что я делал здесь, не могло удовлетворить, казалось припыленным. Многим мешал творить тоталитаризм, мне же — земное притяжение, неумение додумать до конца, скорее всего из душевной лени.

Странная вещь! Меня снова накрыла серая пелена. В повседневности забываю, что за ней может открыться новый простор. Часто не помню элементарных достижений мысли, чувств — смотрю на свой пройденный этап как на чужое. Нутро человечье заскорузлое. Войти в то прежнее состояние что-то мешает: никак не вспомню, что меня возносило. Все та же привычка, правда, освобождающая, без каких-либо помех, мою целеустремленность на работе. Почему вдруг исчезает даже память о тех мгновениях, когда был счастлив, что мог видеть метафорами — проводниками в подлинное видение, в невероятный смысл? Что это за свойство духа — черстветь, не узнавая недавнего усилия, настроя на цель, —

косность внутри? Как вытащить себя за волосы, вознестись в иные состояния души, туда, где мне все близко, и откуда моя работа кажется игрой, проиграть которую совсем не страшно? Как излечиться, спастись?

Моя скрипка часто разлажена, и сколько трудов надо, чтобы настроить себя на «пронзительный» лад, прорвать серую пелену! Мой дневник — череда уточнений-подпорок, записи-заклинания откуда-то из глубин младенческих воспоминаний или видения самого любимого, исцеляющего.

В процессе умственной дремы добирался до некоего света, где мог быть полностью искренним, и все вспыхивало в озарении. Появлялось ощущение времени, судьбы. В этот миг леса подпорок убирались. Но утром они линияли, измельчались, исчезал смысл, и снова видел мир фотографично. Приходилось подходить с другого боку, снова искал новые подпорки, старые уже не действовали.

И хотелось снова взглянуть на картину бабки, чтобы настроить мою скрипку.

Откуда-то донесся голос старика.

— Ты приближаешься к блистающему свету, но с двояким сердцем. Ты из тех немногих смертных, кто совершает усилие. Но некая болезнь

тянет в болото.

Я удивился.

— Иногда могу прорвать эту пелену.

— Ты узко понимаешь свет. Так держатся секты. Но то не узкий луч. Нельзя им заменить всю жизнь, со всем ее чудом.

Я и раньше догадывался, что здесь исток моего одиночества.

Я остался один со Стариком (так мы его назвали), чтобы договорить.

— Где живете?

— Везде, где мой дух свободен.

— Значит, бомж? И, наверно, болен.

— А что, есть здоровье? Ты, ведь, тоже нездоров.

— Интересно, откуда вы знаете?

— В головах людей каша — причина заболеваний духа. Все вы не нашли путь.

Мы разговаривали о странной болезни людей, и вдруг я увидел, что один, разговариваю сам с собой.

* * *

На самом деле о Старике давно ходили слухи, его видели шагающим по городам и весям в белом балахоне, с развевающейся седой бородой. Он нес в

своих проповедях что-то легкомысленное — призывал к душевному усилию растворить душу и тело в некоем грандиозном сознании. Любопытные слушали его, и... что-то в них менялось. Оставались теми же, но поневоле поступали не так, как свойственно им. Вдруг понимали, что жить душно, и как отвалить камень? Где оно, единственное исцеление души? Называли это синдромом Старика. Говорили о новом колдуне, привораживающем словом.

После его посещения в организациях и людях стали совершаться странные вещи.

Один мелкий банк вместо кредита выдал на доверии небольшие беспроцентные суммы малым предпринимателям без расписки, что спасало их отчаянное положение. И странно, банку стали возвращать полученное, и даже появились спонсоры.

Кто-то организовал спортивные состязания инвалидов, создал театр, где они играли Чехова.

А где-то организовалась служба безвозмездной помощи: передавали от богатых неимущим одежду «second hand», кормили бездомных, развозили по домам пьяных, помогали боязливым гастарбайтерам, обитающим в рыночных подвалах и норах, тушили пожары. Старушка-нищенка собирала на паперти милостыню, чтобы поставить памятник погибшим

солдатам.

Некоторые стали отказываться от установленных норм жизни. Известный литератор перестал писать и уединился где-то в провинции, навеки скрыв свое лицо. Бородатый ученый, сделавший открытие мирового значения, отгородился от пристающего мира, не пришел получать премию, уединившись у себя на даче, и во время официального чествования уехал на рыбалку. Даже сознание, что в любой момент может стать богатым и знаменитым, не прельщало его. Общество потешалось, и было оскорблено невыносимым: как можно отказаться от миллиона евро?

Качество товаров ряда фирм, лихо рекламируемых в телевизионных роликах, действительно стало соответствовать: покупатели всерьез поверили, что их продукты без генетически модифицированных добавок; цельное молоко на самом деле цельное, а порошковое стыдливо называли «молочным напитком»; хлеб стал вкусным, чудесно пористым.

Некоторые олигархи (странно, после знакомства со Стариком) стали покупать за границей увезенные за границу ценности и дарить их государству, обещали отдать свои миллиарды на благотворительность, правда, после смерти. Благотворительность становилась престижной.

Впрочем, было бы нелепо приписывать Старику все хорошее, что стало происходить на свете, хотя его видели во всех этих местах. Скорее всего, он был наблюдателем, Смотрящим от Единого, как видно из его рукописи на рулоне для факса, оставленной в нашей организации.

«Я послан увидеть начало третьего тысячелетия, когда наступит конец света (здесь считают от рождества Сына Человеческого, как было предсказано), если человеческий род не сумеет найти пути к Золотому веку всеобщей близости и доверия, и это свершится в сороковом колене.

Мне пришлось ходить и на запад, и на восток, и до пределов земли, и было тяжело мне, спасавшему мир моей неистовой верой, когда ходил по земле с окровавленными стопами, голодный, в лохмотьях, учил добру и любви, слыша проклятья и побиваемый камнями, и посылал осуждения грешникам и восславлял праведных, за кого молил перед суровым Господом Мира.

И дано было видеть и наблюдать, что изменилось с тех пор, как люди были оставлены и предоставлены самим себе. Как с крутых стен монастыря на высокой горе, открылось сокровенное на земле, что было сокрыто в мое время, небывалый искусственный мир, как будто человеческий род в похоти ума залез на небесную лестницу. Это превосходит любые сказания в мое время.

Народы расселились везде, куда только проникает взгляд, застолбили свои земли и сидят по своим углам. Видели мои очи места новых жилищ: от знакомых маленьких домиков до великих и широких одинаковых домов с ячейками-пещерами, где живут скопища людей, и возвышенных стеклянных храмов избранных, отражающих голубое небо и облака, и качающихся в вышине вавилонских башен-«небоскребов», высоту которых люди внизу перестают замечать. Их формы, освобожденные от мистического квадрата — земли, и круга — неба, стали гибкими и плавущими.

И небо, и почва, и недра стали полностью существовать для живущих на земле, так как они расплодилось, и стало мало пищи для них. Везде я видел полезное, что делается людьми для людей. Здесь распределили всю природу по специальным устройствам-уловителям. Черную горючую жидкость заключили в трубы, и от нее малая часть сынов человеческих, как в старое время посланцы богов, получает огромные богатства. Всю землю опутали паутиной дорог из железных полос и каменных покрытий, по которым ездят железные повозки; проволочной сетью прирученных людьми молний, которых раньше не могли ничем удержать; и везде массы света, и они блестят для облегчения жизни и услащения глаз. Само небо приручили железные птицы, подобные свергнутому с неба ангелам-демонам Азazelю и другим, и их начальнику Семьязе.

Увидел и узнал то, что мне доступно, что наспех заметил и усвоил из книг и экранов с живыми тенями,

такие чудеса и изменения, и много таких сотворенных слов, что невозможно было предвидеть ни одному смертному, зревшему будущее в пределах моей эпохи, закрытой пеленой, за которую не удалось выйти никому, кроме меня.

Здесь устраивают олимпийские игры, триумфы побед в войнах, празднества Диониса: дни смеха, фестивали, «фабрики звезд», аукционы, разные «тусовки» — веселье любви, мирные состязания, приносящие победителям деньги.

В обиход снова вернулись пропавшие слова «товарищ», «друг». Певцы сладко поют о чудесной жизни, состоящей только из любви. Все говорят о любви. «Главное — стремление к добру! Горение в любви». Целятся песни о любви. Люди-тени, видимые на расстоянии на экранах в специальных ящиках — «телевизорах», возвещают старинное учение о гедонизме.

Неслыханное изобретение, связавшее все дальнейшее и близкое — «интернет», сразу обнаживший всемирную помойку греховности человеческой внутренности, теперь изнывает от любви, соединяя слушающих в едином порыве веселья и близости.

Увидел воочию готовность воплотить мечту человеческих племен о всеобщем единении, чтобы они, как избранные, стали ходить и шествовать по земле. Пока не узрел новые откровения Единого. И удивился, что благодаря невиданному облегчению, цивилизация расслабляет, не меняя душу, отучает напрягать усилия, чтобы понимать себя и все события. Люди озабоченно

смотрят вниз, всюду грозят друг другу, все время идут войны. Если обрушится искусственный мир, то люди, отвыкшие от своих древних умений в природе, сразу вымрут. Или обнажится то звериное, что всегда было в них с древности.

Человеческий род и сейчас не готов творить усилие возвышения духа к Единому, чтобы наступил Золотой век на земле, текущий молоком и медом. Никогда не было такого разгула падших ангелов-демонов на Земле! И ныне, через сорок колен, хожу босой и проповедую, но не могу повлиять так, как влиял на мой род. Люди проходят мимо, правда, не побивают камнями».

Этот манускрипт прочли в узких кругах историков и филологов. Было непонятно: писал как будто ветхозаветный человек, знающий современные события.

Силовые органы нашли в поведении Старика двойное правонарушение: выпад против установленных порядков и явную проповедь любви к врагам. Он стал нежелательным элементом, мог наделать много вреда, зомбируя людей. Поскольку дело было заведено, машина правосудия не могла остановиться, и его объявили в розыск.

*Под высоким, до неба, берегом
Пойма — бездна русской реки.
Все, что в душах хранилось бережно,
Заклчила в объятия свои.
Счастье здесь непоколебимо.
Утонули беды мои
Во всемирном предчувствии — дыме,
Серебристом дыме любви.*

Старое здание психиатрического Института имени Курбского покоилось на высоком берегу великой реки, в бывшей крепости с толстыми почерневшими стенами, когда-то предохранявшими от набегов. К ней примыкал древний город. На главных воротах мирно висела табличка «Центр психического оздоровления», рядом заржавленные пушки и ядра, — ничто не напоминало о животном страхе при виде колышущегося моря вражеских пик внизу за стенами. Институт создали когда-то по велению царя, в новые времена присвоив имя первого князя-диссидента. Бюст его стоял во дворе.

Вся старая больница, весь мир открыли больным объятия. Откуда-то из высшего центра, а может быть, от самого Бога, исходили распоряжения: на них работали НИИ, профи, энергетика, пищеблоки. Они тонули в этой мощной бессмертной заботе, из которой не хотелось выходить в прежнее однообразие повседневности.

Интерес к человеку со времен Гиппократ и Авиценны здесь работал во всю, не прерываясь за тысячелетия ни на минуту: приборами виртуально заглядывали внутрь головы и тела, там включался голос нутра человеческого — грозно плескалась стихия, и кто-то словно кричал, ритмично исчезая и возникая в волнах. Анализировалась кровь, слушалось биение темного сердца, ребристо-светлые легкие проступали на рентгеновских снимках.

Слабым привозили еду и кормили с ложечки рисовым супчиком. Это была стихия отдачи других — нам. Кто-то улыбался, бормотал заклинания, переживая откровения.

Из телевизора доносился гедонистический гул внешней жизни. Там социальное кипение, с рейтингами, политикой. Больных не касалось это чужое мельтешение.

Меня поместили в палату со старыми кроватями на колесиках, два века вбивавшими стоны страдальцев, где лежали расслабленные, с капельницами и без, привезенные испуганными и жалкими, побывавшими в депрессии.

Это было после встречи со странным стариком. Хотя я считал себя здоровым. Просто устал от борьбы за выживание своей организации, от соболезнающего равнодушия тех, кто мог бы помочь. Лежать здесь было — смерть. Оторвали от

давнего дела, без «Главного» там зияющая дыра. Любимое дело рухнет, и не к кому воззвать, отвечать должен один.

В Институте лежат представители всех известных видов отклонений, приобретших болезненные формы: искатели правды — робкие правозащитники, и озлобленные на несовершенство мира, и упертые злопыхатели; ярые краснобай-державники со звездной болезнью; отловленные родственниками одиночки, рвущиеся в леса или пустыню; пророчествующие о конце света.

У всех была обнаружена депрессия — от апатической до эндогенной, и еще неизвестных науке и изучаемых. С временно или даже навсегда темным сознанием, когда теряется цель, вернее, есть неопределенное мелькание счастья — надежды, и потом все обесмысливается. Их сознание, питаемое отторжением от пугающей среды, «бродило впотьмах».

Молодая доктор с крючками стетоскопа в ушах наклонилась над моим телом, слушая сердце.

— У вас все признаки раздвоения.

Что-то произойдет гибельное, вот сейчас! мои нервы плясали, в бессознательном поиске исцеления. И в то же было время детское доверие к доктору. Белая кожа ее лица, завитки волос близко от лица, нежная грудь, выглядывающая из

халата, — что-то материнское, раннее расслабляло меня.

Обычно я был тверд сознанием, до банальной трезвости, но иногда голова кружилась, и приходила мысль о безумии. Вдруг обессиливало сознание бессмысленности всего, и от этого нервы начинали плясать. Мир не дает любить его: слишком огромен и равнодушен. То темное, из чего мы черпаем материал для сознания. Как все, что замкнуто в себе, как и я замкнут — в своей оболочке. Просыпаюсь — и неизменно я, я, и так каждый день, всю жизнь, всегда ношу в себе это «я» — в разных ситуациях: в детстве, молодости — убегающий от одиночества и страшно далекий от народа, потому что не мог осознать мою связь с событиями, реальностью и историей. И после смерти войду в какого-нибудь «я», и тот не сможет вырваться из моей оболочки. Но забываюсь только когда забываю себя. Тогда я жив, потому что живу другими.

Понимал, что это не зависело от окружающей реальности, но что-то совершалось в самом организме.

Справа от меня, под капельницей, пожилой профессор в очках, с сухим лицом, весь в тревоге, порывался звонить: его подобрали в метро, родные еще не знали о беде. Его болезнь не могли определить, но он чувствовал, что узел ее в потере

веры людей в то, что было его профессией. В светлые начала народа, выраженные в его книгах о связи математики — фундамента бытия, и искусства (на примерах древнерусских памятников). В слово, которое перестало действовать, скользит вхолостую, не влияет на жизнь. Его известность мешала — все принимали его за гуру.

В новом мире он был чужим.

Слева политолог, крепкий и загорелый в фитнес-клубе красавец с ухоженной прической, заласканный женщинами. Он побывал в депутатах, его знали по политическим статьям и фото в гламурном журнале: держал ладонь на модной книге по мировой экономике. Говорили, что в молодости он выучил наизусть все тома Всемирной энциклопедии.

Он организовал вокруг себя что-то вроде уюта, отгородился двумя тумбочками, на них аккуратно разложил книги, бумагу и карандаши в стакане. На вопросы не отвечал, перелистывая документы и высокомерно взглядывая через бумаги. После разговора в офисе со странным стариком в балахоне с ним что-то произошло, открывал рот, и... говорил то, что думал на самом деле. Так он провалил выборы, занимаясь пиаром одного из сомнительных кандидатов в губернаторы. Крах обратился в манию. Он чувствовал, что если

не будет держать себя, то весь разбежится в неконтролируемое безумие.

Напротив — капитан полиции, попавший сюда после встречи со стариком, с той же неподвижной физиономией, но словно сбитый с ног. Он почувствовал, что надо выходить из своего душевного тупика, и неожиданно для себя открыл в интернете блог, где изложил план замены сотрудников полиции на «стражей справедливых». Его отправили на обследование, и он оказался здесь. В этом он винил старика.

У окна за шкафом здоровенный мужик с большим животом — завхоз сельского кооператива, принимал заботу, как само собой разумеющееся, настороженно, постоянно жевал бутерброды с толстыми кусками буженины: доставал из тумбочки, — ему регулярно приносили еду такие же здоровенные родичи. В столовую он ходил раньше нас, не хотел связываться с нами.

Это случилось неожиданно — сорвался в среде здоровой семьи и полного благополучия, от неопределенности в кооперативе во время экономического кризиса. Плакал и не хотел жить. У него был бред: в больнице забрали его деньги, они лежали на столе, исчезла сверху бумажка в тысячу рублей. «Где тысяча?» Его сосала тягучая надсада, будто вырывают из души что-то неразделимое с ней.

Слева, рядом с моей, кровать Саида. Он появился неизвестно откуда, представился так:

— У всех давление пришел в норму. А у меня двести. Потому что все русские, а я не русский. Черный я.

Все слабо заулыбались — давно исчезло разделение на «черных» и «белых», наступила демократия. Он в грязной майке и драных штанах. Больше при нем ничего не было, по его веселым объяснениям, его подобрали на «трех вокзалах» — был неадекватен. Документы и деньги исчезли. Он представлялся то персом, то чеченцем, и даже грузинским хохлом.

Саиду завхоз не нравился.

— Ой, нехороший человек. Утром мылся в ванной комнате — всю воду мыл, долго, по часу. А я сижу за дверью. Потом по мобилу ругался... Тьфу!

Он спрашивал завхоза:

— Ты давно здесь?

— Я здесь родился! — зло сказал тот.

— А у меня другая планета. Попал сюда.

Завхоз глянул, и повернулся на кровати спиной.

На койке в дальнем углу отрешенно качался пожилой сельский священник с редкой бородкой, бормоча молитвы.

Нетерпеливо ходил по палате молодой

толстый парень с удивленными глазами, из молодежной организации «Свои», звонил по мобильнику товарищам по поводу какой-то акции. Говорили, что он пошел в «Свои» из-за красивой формы и притягательной цели этой молодежной организации — защиты идентичности русского народа, а в больнице «откашивал» от армии. Он не хотел быть привязанным здесь ни минуты. Его ждала борьба за родину, и его девочка, и надо было улетать в Англию, в Гарвард.

* * *

Мы с профессором, сидя на постелях рядом, говорили о «высоком». Его сухое всепрощающее лицо парило над миром.

Вдруг в палате что-то произошло — все подняли головы с постелей. Вошел необычный старик в белой хламиде, с седой бородой. Многие видели его в своих обстоятельствах. Он остановился, осветив всех такой безмятежной улыбкой, что почему-то вспомнился утренний летний сад.

— Радуйтесь, блаженные! Ибо сказал Господь: «Блаженны духом нищие». Потому что не могут вершить неправедные дела.

Капитан хватнул мнимую кобуру.

— Ага, попался!

Его раздражила это утренняя улыбка. Может быть, он и оказался здесь, чтобы поймать преступника. Но почему-то остался неподвижным.

— С вами мне будет лучше, чем было со стражниками. Исполняется воля Господа мира.

Саид одобрительно похлопал в ладоши. Скорбные головой возбудились. Кто это?

— Претерпеваю гонения за слова правды! Как и в мое время. Ученики привезли в ваше укрытие — на специальной белой повозке с красным крестом. Здесь ездят к больным и заботятся о них.

Он поднял ладони и поклонился возлежащим на кроватях. Мне почему-то показалось, что жизнь не так плоха, и я помахал знакомцу — подсесть к нам. Тот незаметным образом оказался сидящим на моей постели.

— Здравствуй, летописец поэзии. Вы говорили о двух типах человеческих: сострадательном и рациональном.

Нам показалось, что мы ослышались. Откуда узнал тему?

— В древности род человеческий делили на праведных и грешных. Господь Неба, еще до моего времени, утопил все падшее человечество и разрушил Содом и Гоморру. Небо опустилось, и уменьшилось, и упало к земле. И все увидели, как она поглощается великою бездною, и претерпевает насильственную гибель. «И не думали, пока не

пришел потоп и не истребил всех».

— Первый геноцид на земле! — приподнимаясь, решительным тоном сказал политолог.

— Надо быть в то время, чтобы иметь представление о Нем. Тогда было испытание, когда из раны, нанесенной неправдой, насилием и нечестием, разветвились веры и зародилось христианство. Но была вера, что Господь Неба призовет по одну сторону чистых, а по другую грешников. И воздаст каждому по заслугам его.

Профессор глянул с любопытством:

— И сейчас так думают. То, что в древних книгах считалось грехом и праведностью — не изменилось. Говорят о генах преступности. Убойные фильмы изумляют нас тем, что там одни мерзавцы, убивающие друг друга, или герои. Только термины другие.

Старик возразил:

— Сейчас это не так. Вижу, что старые представления неправильные. Сейчас грешники те, кто живет только частной жизнью, не зная сочувствия к другим. И вещи и события, ранее нерасчлененные с Богом, как нимфы с лесами природы (когда леса засыхали — нимфы умирали), обособились и стали частными, а божественный смысл стал ненужным мифом, хотя некоторые притворно ходят в церкви и зажигают свечи.

Частная жизнь стала говорить от имени правды и добра. Чистые — это те, кто сострадает ближним, не знает истины, но ищет.

И пробормотал:

— Впрочем, мне стало трудно отличать, где грешники и праведные.

— А как же с Богом? — спросил профессор.

— Я за того Единого, кто был до разветвления веры. Он не такой, каким его видели в старину. Время ограничивает восприятие Бога. Его всеведение простирается за все, что изобретено и подумано. И нет ничего, что было бы сокровенно для него.

— Так сейчас мы ближе к нему?

— Знаю, что уже расстояния перестают быть благодаря разговорам через воздух, что называют «интернетом». Созданы и другие устройства для устранения томящих преград телу. Но люди по-прежнему не хотят воздвигнуть свои мысли за пределы науки.

Я испытал почтение к Старику. Какой-то он бесплотный, словно в озарении своим светом забыл о себе, своем теле. Что-то в нем есть, неразгаданный остаток.

Профессор был почтителен.

— Значит, изменили свои убеждения?

— Нет. Мою проповедь не поняли. Якобы, я призываю к «цветной» революции. Во все времена

была вера, поэзия, идеалы, все чистое, стремящееся в безграничную близость человеческого рода. Но они кажутся утопиями, люди как ослепшие овцы уклонились совершенно, и глаза каждого стали слишком и чрезмерно ценить земные блага. Хочу, чтобы зрели будущее за пределами, закрытыми пеленой. Там раскрывается дух, и весь род человеческий узнает друг друга, и станет как одна семья.

Я возмутился — в результате долгих поисков ускользающих порывов, наконец, поменял характер — на злой.

— Ваши глаза тоже ослепли. Всю жизнь верю в вашу утопию, и дорого заплатил за это. Надо бы, наконец, понять: это иллюзия. Но все еще не могу заглянуть в пропасть.

— Правильно! — вскинулся политолог, приводя себя в решительное состояние. — Нельзя объединить то, что разъединил Господь, как утверждал великий физик, исследовавший атомное ядро. Он заложил в нас это как исходную данность, и все разделяется. Только близкие понимают и страдают своим родным, даже больным, инвалидам, дурачкам и сумасшедшим.

У политолога был догматический ум. Что бы ему ни говорили, все сворачивалось у него на конечное собственное убеждение. И потому убеждения других казались ничтожными. Ум его не